

В. ВЕРЕСАЕВ

Викентий Викентьевич Вересаев

На мёртвой дороге

«Изморенный ходьбою и зноем, я сидел с Михайлой на пороге его убогой, крытой соломою сторожки. Вдали, где степь сливалась с сверкавшим небом, дымилась трубы шахт, громыхали товарные поезда. Кругом же все дышало покоем и запустением. За лощинкою, под соломенным навесом, молчаливо ютилась крестьянская шахта, а мимо нас бежала вдаль узкая, пыльная полоса травы, в ней рыжели растрескавшиеся рельсы...»

**Викентий Викентьевич
Вересаев
На мертвой дороге**

Изморенный ходьбою и зноем, я сидел с Михайлой на пороге его убогой, крытой соломою сторожки.

Вдали, где степь сливалась с сверкавшим небом, дымились трубы шахт, громыхали товарные поезда. Кругом же все дышало покоем и запустением. За лощинкою, под соломенным навесом, молчаливо ютилась крестьянская шахта, а мимо нас бежала вдаль узкая, пыльная полоса травы, в ней рыжели расстрескавшиеся рельсы. Эта заброшенная железная дорога принадлежит крупному углепромышленнику Сохатову и ведет на давно уже выработанный Солодиловский рудник; но Сохатов не снимает рельсов; он рассчитывает заарендовать у крестьян богатый углем участок рядом с Солодиловкой; если же снять рельсы, то придется опять хлопотать об отчуждении земли под подъездной путь. И вот тянется по степи мертвая дорога. Шпалы погнили, рельсы заржавели и заросли бурьяном; у переезда нет заставы, нет даже столбика. И Михайло одиноко бродит по протоптанной в бурьяне тропинке, оберегая рельсы и шпалы от расхищения.

Был шестой час вечера. Зной стоял жестокий, солнечный свет резал глаза; ветерок дул со степи, как из жерла раскаленной печи, и вместе с ним от шахт доносился острый, противный запах каменноугольного дыма... Мухи назойливо липли к потному лицу; в голове мутилось от жары; на душе накипало глухое, беспричинное раздражение.

Михайло, с трубкою в зубах, сидел рядом и рассказывал мне о своей далекой орловской деревне, о кулаке-старшине, забравшем в руки всю волость.

– Кабак открыл, лавку открыл!.. В волостные старшины попал!.. – говорил он, мрачно и негодуя глядя вдаль. – Ребятенками вместе в рюхи играли, а теперь посмотри: пару гнедых завел, – лихие кони, так и ерзают, – ахнешь!.. Заговорят на сходе: «Учесь бы его!» – «Ишь, скажет, податей не платят, а тоже – учесь!.. Разговаривают, сукины дети, заковыривают!..»

Уж больше часу рассказывал мне Михайло о всевозможных бедах и притеснениях, которые ему пришлось претерпеть в жизни. Я слушал и, угрюмо глядя на изнемогавшую от

зная степь, думал о том, что мне не скоро еще можно идти дальше, что еще не один час придется мне провести здесь, пережидая жару. Стыдно признаться, но мало сочувствия вызывали во мне рассказы Михайлы. И степь, бессильно выгоравшая под солнцем, и ленивый, душный воздух, и негодующие сетования Михайлы – все дышало чем-то таким тоскливым, расслабляющим и безнадежным... Странно было подумать, что где-нибудь теперь свежо и прохладно, что есть на свете бодрые, деятельные и неунывающие люди.

На далеких Афанасьевских коях раздался гудок, на него откликнулась одна шахта, потом другая, – и вскоре вся их дымящаяся цепь загудела на разные тоны деловито-угрюмыми гудками. Откуда-то из-за горизонта чуть слышно донесся звон церковного колокола.

– Ко всенощной звонят, – сказал Михайло, снял шапку и стал креститься.

Колокол продолжал мерно звенеть, и его звон с трудом пробивался сквозь ноющее гудение шахт.

– Нынче ночью отец-покойник приходил

ко мне, – помолчав, заговорил Михайло, – в тулупе новом, в новых валенках, другую пару в руках держит. «Все, говорит, Миша, ноги зябнут, никак не могу согреться...» Панихидку бы надо отслужить...

Михайло задумчиво поглядел вдаль, где медленно струился и переливался горячий воздух.

– Все помину желают родители, барин, и мы отощали!.. Э-эх!.. – тяжело вздохнул он и стал раскуривать погасшую трубку.

Гудки смолкли один за другим. Затих благовест. Только бесчисленные жаворонки звенели и заливались в ярком небе, и казалось, что это звенит само небо, – звенит однообразно, назойливо... Да и в небе ли это звенит? Не звенит ли кровь в разгоряченной голове?.. Ковыль волновался и сверкал под солнцем, как маленькие клубы белоснежного пара. По степи шныряли юркие рыжие овражки. Из рудничных труб лениво валил дым и длинными, мутными полосами тянулся по горизонту.

Мимо сторожки прошел худощавый бородастый шахтер в синей блузе, с кожаной сумкой за плечами. Заметив нас, он в нерешит-

тельности остановился и вдруг круто повернул к сторожке.

– Дозвольте, господа, немножко посидеть с вами! – произнес он с быстрой улыбкой. – Жарко, нет никакой возможности идти.

– Просим милости! – ответил Михайло.

Я где-то уже видел это нервное лицо, с впалыми щеками и странно блестящими глазами, с быстрой, нескладной улыбкой, видимо, очень редко появляющейся на губах. Шахтер спустил с плеч сумку, прислонил ее к облупившейся стене сторожки и утер платком потный лоб.

– Никитин, да это вы! – вдруг сказал я.

– Как же! Я самый.

Встречался я с Никитиным, и не один раз, на Миримановском руднике, в одном из «балаганов», как здесь называют рабочие казармы. Зайдешь в праздник в балаган, – все пьяно, на нарах кипит игра в карты и орлянку, в воздухе одни только скверные слова и слышны; а Никитин молчаливо сидит за столом, склоняясь худым лицом над какими-то чертежами; вокруг разложены краски, готовальня, линейки. Заговоришь с ним – он отвечает

очень вежливо, но односложно и сдержанно. Первое время я принимал его за механика, но потом узнал, что он простой шахтер.

Никитин присел на свою сумку и закурил папиросу.

– Вы куда же это направляетесь? – спросил я.

– На Карачевские рудники иду. Взял расчет у Мириманова.

– Что так? Порядки тамошние не нравятся?

– Нет, что же? Где ни работай, все одно...

Дело у меня есть в Карачевских рудниках.

– Дело?

– Да... Кое-что надобно там поразведать, посмотреть...

– То есть что же именно?

Никитин уклончиво ответил:

– Так... Свои различные дела.

Уж и раньше несколько раз наши разговоры с ним кончались таким образом. При прежних встречах мне иногда казалось, что Никитину хочется поговорить со мною, а заговоришь – он вспыхнет и отвечает односложно и уклончиво. Но теперь, по-видимому, Никитин решил побороть свою застен-

чивость. Он покраснел, поправил под собою сумку и оглядел меня быстрым, испытующим взглядом.

– Позвольте вас спросить, я уж давно все собираюсь, хорошо вот, что встретился, – заговорил он, улыбнувшись своею нескладною улыбкою, причем лицо его покрылось странными морщинками. – Что это, дорого стоит какие-нибудь изображения отпечатать, вот как иконы для продажи печатают, азбуки, царские портреты.

– То есть картины, значит?

– То есть, значит... Планты! – запнувшись, ответил Никитин.

– Планы!.. Видите ли, хорошо я с этим делом не знаком, но, кажется, это будет стоить вам не одну сотню рублей.

Никитин молчал, видимо, пораженный.

– Почему же царский портрет за двугривенный можно купить? – спросил он.

Я стал объяснять. Никитин слушал, задумчиво теребя редкую бороду.

– Почему это вас так интересует? – спросил я.

Никитин встрепенулся, еще раз быстро

оглядел меня, откашлялся и начал поспешно развязывать сумку.

– А вот позвольте вас спросить, может, вы мне объясните, – сказал он и вытащил из сумки небольшую иллюстрированную азбучку. – Извольте посмотреть! Все у нас в России пропечатано: гуси... девочки вот... коровы... солдаты... хомуты... Почему нету плантов?

– Каких плантов?

– А рудников!

– Для чего же их печатать?

Никитин удивился.

– Для чего? Для нравоучения!

Мы молча уставились друг на друга.

– Я вас не понимаю. Какое же в планах нравоучение?

– В них большое нравоучение состоит!.. Вы вот в рудник опускались, видали все; есть там вентиляция, позвольте вас спросить?

– Есть.

– Есть?.. Там вентиляция такая, что есть ли она, нет ли, – все одно. Только для виду печи стоят. Почему это, позвольте спросить, если на поверхности работать, то работой сколько хочешь, и ничего тебе не будет, а в шахте час

посидишь – и начнешь черной харковиной плевать? Тут причина вот такая: току воздуха дается неправильное направление, поэтому газам некуда уходить, они идут в середину к человеку. Я вам сейчас все это объясню.

Никитин достал из сумки толстый сверток и развязал его. В нем оказалось около десятка больших, довольно неумело начерченных и раскрашенных планов. Развертывая передо мною один план за другим, Никитин стал объяснять мне, в чем заключаются недостатки вентиляции в шахтах. Я незнаком с вопросом о рудничной вентиляции, но чувствовалось мне, что критика Никитина представляет собою что-то крайне нелепое. Впоследствии я рассказывал о своем разговоре с ним нескольким инженерам, и все они нашли, что указания Никитина в корне игнорировали самые элементарные правила горного искусства.

– Вот в чем все дело! – закончил Никитин свои объяснения. – Это все на плантах видно, всякий сразу бы понял, кабы пропечатать... Азбуки вот у нас печатают, ситцы печатают, – отчего же не печатают плантов?.. Двенадцать

часов народ в шахте сидит, а дышать ему нечем. Воротится шахтер домой и помрет. Вы взрежьте его, посмотрите, – у него все кишки пропитались газом... Вот отчего нашего народу росейского так много помирает!

– До-овольно его, хватит! – с усмешкою произнес Михайло. – Хлеба нет, есть нечего... Погляди, наделы-то какие стали: курице ступить некуда.

– «Хватит»!.. А вот помрешь, – дети останутся, – сдержанно возразил Никитин.

– Э, живы будут – и сыты будут, – сказал Михайло, махнув рукою. – Вырастут, сами работать станут.

– Вы и в Карачевские рудники для того поступаете, чтобы план снять? – спросил я Никитина.

– Для этого самого. Я уже расспрашивал ребят: много непорядков там! Дождутся взрыва, как Иловайские! Слыхали, в Иловайском руднике зимою взрыв был? Двенадцать человек побило газом! Это что же такое? Должны бы они смотреть или нет? Навесьть хотели, – и навели, и сделали дело... Двенадцать человек погубили!.. А все оттого, что вентиляции нет.

– Разве от этого? А я слышал, – оттого, что работы производились без предохранительных ламп.

– Нет, тут дело не в лампах! Лампы что!.. Тут штука вот такая: вентиляции настоящей не было. Я вам сейчас все это правильно докажу.

Никитин порылся в свертке, достал план рудника Иловайских.

– Извольте смотреть: вот она нижняя продольная идет, вот она – верхняя. По *мóштану* в каждой пятьдесят сажен длины. По ним какой ветер должен бы ходить? Чтоб шапки срывало! А у них народ задыхается. Почему тут просека нет, позвольте спросить? От бремсберга должен во всю длину просек к вентиляционной печи, – где он? – Никитин спрашивал отрывисто и строго, словно обращался к невидимому подсудимому. – Почему воздушная шахта в стороне поставлена? Я им все это в подробности объяснил, письмо послал. Неделю жду, другую, – не шлют ответа. Пошел сам... «Получили письмо?» – При этом Никитин грозно нахмурил брови; затем откинул голову и, прищулив левый глаз, протянул

медленно и высокомерно: – «По-лу-чи-ли, но нам нет надобности давать вам ответ». – «Поч-чему нет надобности?!» – «Потому что это дело до вас не касается».

Никитин замолчал и выжидательно взглянул на меня своими странно блестящими глазами.

– Позвольте спросить: как это, принадлежно к их званию?

Я с сожалением пожал плечами.

– Разумеется, этого и следовало ожидать. С какой стати они вам будут давать ответ?

– Небось, как планты пропечатают, так придется ответ дать.

– Да и тогда вряд ли придется.

Я стал доказывать Никитину совершенную бесцельность и ненужность его предприятия; планов его никто и покупать-то не станет, если же купит, то все равно ничего не поймет; о тяжелом положении шахтеров уже много писалось в газетах, а дело все идет по-прежнему: изданием планов тут мало поможешь... Михайло сочувственно поддакивал. Никитин оживился; на самолюбивом лице выступили красные пятна, глаза враждебно заблестели.

– Как это вы можете говорить, что ничего понять нельзя? – возражал он. – Тут всякий может понимать! Извольте смотреть.

И он разворачивал передо мною один план за другим и взволнованно водил пальцем по желтым, красным и серым квадратикам, по непонятным для меня надписям: «квершлаг», «бремсберг», «капитальный просек» и т. п. Для Никитина эти планы, в которые он вложил столько любви и труда, видимо, дышали жизнью; ему казалось, достаточно любому взглянуть на них, чтоб сразу получить яркое представление о тяжелой судьбе шахтера. Я видел, разубеждать Никитина было бесполезно: слишком уж он сжился с своим делом, чтоб так легко отказаться от него.

– Ну, во всяком случае, дай вам бог удачи! – сказал я. – Если обратят внимание на ваши планы, то вы сделаете хорошее дело... Вы что же, сами собираетесь издать их?

– Обязательно, – неумолимо ответил Никитин, словно я просил его пощады тех, для кого он готовил удар изданием своих планов. – Разве все эти безобразия возможно допускать! Не-ет!..

Он быстро свернул планы и молча, не глядя на меня, стал укладывать их в сумку; увязал сумку, надел на плечи. Я спросил:

– Что это, вы уж идти собираетесь? Ведь жарко еще! Посидели бы, переждали, пока жар спадет.

– Время идти: и так дай бог к ночи поспеть... Просим прощения.

Никитин угрюмо приподнял фуражку, поправил ремни на плечах и пошел к рудникам.

– Тоже – планты печатать собрался!.. Землемер!.. – Михайло иронически глядел ему вслед. – Вот как наладит его хозяин по шеям, чтоб не в свое дело не совался, так забудет о плантах думать!

Он выбил о порог выгоревшую трубку, стал набивать со табаком. Никитин, миновав соломенный навес крестьянской шахты, быстро и нервно шагал по пыльной дороге.

– Прошибешь их плантами! Вон у нашего хозяина, – поди-ка погляди, в каких конурах народ живет! Собаку в такую землянку загнать совестно, а у него в каждой по два семейства да по два нахлебника живет. Зай-

десь в землянку осенью, – грязь, слякоть, хлев настоящий, народу – что снопов в скирде... А на Солодиловке вон громадные здания пустые стоят, ч-черт их душит!..

И опять полился поток суровых обличений. И вдруг я опять почувствовал, как кругом жарко, душно и тоскливо... Солнце жгло без пощады и отдыха; нечем было дышать, воздух был горячий и влажный, как в бане; ласточки низко носились над степью, задевая крыльями желтую траву. Никитин уже исчез из виду. Вдали, на дороге, длинною полосой золотилась пыль, в пыли двигался обоз с углем. Волы ступали, устало помахивая светло-серыми головами, хохлы-погонщики, понурившись, шли рядом. Все изнемогало от жары...

А Михайло, попыхивая трубкою, неугомонно рассказывал о бесчисленных злоупотреблениях здешних углепромышленников, – и роптал, роптал без конца...

Кругом стало темней. По степи пошла тень. Воцарилась странная тишина.

Михайло прислушался и сказал:

– Никак, гроза идет.

Я вышел в степь. С запада медленно, словно подкрадываясь, ползли по небу тяжелые грязно-желтые и лиловые тучи; чуть слышно погромыхивал гром. Все вокруг примолкло, ветер упал. А далеко на западе, по дороге, вился и клубился огромный столб золотистой пыли; на глаз этот столб двигался медленно, но чувствовалось, что он мчится с страшною быстротою. Вот он захватил и окутал могилу у перекрестка... Вдруг кругом все завывло и зашвистело. От крестьянской шахты взвилась туча черной пыли и смешалась с набежавшим золотистым вихрем. Трудно было стоять на ногах, пыль залепляла глаза, набивалась в рот. Громадные клубы ее, словно спеша куда-то, неслись между шахтой и сторожкой, перебегая наискось рельсы, и исчезали за балкой. Сквозь пыль едва видны были на дороге тени Обоза; хохлы стояли на фурах и, согнувшись, поспешно надевали развевавшиеся по ветру свиты; волы склонили свои красивые рогатые головы навстречу вихрю. Вдруг резко блеснула молния, по небу, с запада на восток, с оглушительным, прерывистым треском пронесся гром, повернул обратно и с глу-

хим грохотом скатился за шахту. Хлынул дождь...

Дождь хлынул крупный, частый; он с силою забил по земле, заволакивая ее мелкою водяною пылью. Даль замутилась, все небо стало ровного серого цвета, и только на юге шевелились и быстро таяли мутные ключья туч. Свежий ветер мчался по степи, в брызги разбивая сплошные струи дождя, и казалось, какие-то туманные тени несутся под дождем в сырую даль. Молнии то и дело сверкали малиновым светом, гром весело катался по небу из конца в конец. Перед сторожкой образовалась большая лужа; она росла, вздувалась и, обогнув полынные кусты, медленно поползла по дороге, оставляя за собою грязный, пенный след.

Мы с Михайлой сидели в сенцах сторожки, – он на бочонке из-под кваса, я на скамейке. В дверь тянуло бодрящею, влажною прохладой; грудь жадно дышала. Михайло оживился: его суровое, всегда нахмуренное лицо смотрело теперь мягко и радостно.

– Вот так дождичка бог послал! Гляди-ка,

как теперь яровые подымутся!.. Гляди-ка, как пшеница зацветет!..

Я слушал с невольною улыбкою, и в то же время сжималось сердце от жалости к Михайле; он сиял таким довольством, таким торжеством, как будто и ему самому дождь сулил невесть какие выгоды; но я прекрасно знал, что ничего здесь у Михайлы нет, кроме тянущейся перед нами ржавой, гнилой дороги, заросшей негодным бурьяном.

На тропинке показалась женщина в выцветшем голубом платочке, с котомкою за плечами. Она бежала, согнувшись и опустив голову, обливаемая дождем; ветер трепал мокрую юбку, липнувшую к ногам. Путница через лужи добежала до нашей сторожки и, охая, вошла в сенцы.

– О господи-батюшка!.. Вот дождик-то полил! – проговорила она, тяжело дыша. – Уж и не чаяла добежать... Здравствуйте, господа честные!

– Эк тебя промочило! – соболезнующе воскликнул Михайло.

– Да уж бежала, бежала... Вижу, тучки

идут, а укрыться некуда. Спасибо, хатка ваша по дороге встрелась.

Она спустила с плеч котомку, поставила в угол и положила на нее свою белую камышовую трость с жестяным набалдашником; потом подошла к двери и стала выжимать мокрый, отрепанный подол юбки. Лицо у путницы было худое, почти черное от загара, и на нем странно белели белки глаз.

– Льет, льет дождик – не судом божиим!.. – усталым голосом произнесла она и села на опрокинутый дощатый ящик. – Дорога-то эта на Таганрог идет ай нет?

– На какой Таганрог! На Солодиловку дорога идет.

Путница огорченно покачала головою.

– То-то я все смотрю: что это, словно... А мне в Ясиноватой сказали, – на Таганрог.

– Тут дальше Солодиловки-то и дороги нету... Как же это ты так? Спросила бы толком, поразведала.

– Так видишь ты, спрашивала я; сказали, – сюда идите.

– На Константиновку надобно было тебе идти, вот куда.

– То-то на Константиновку, значит! А мне говорит, – сюда.

– Зачем сюда? Нет... На Таганрог здесь не пройти. Надобно было тебе толком спросить, – всякий бы показал. Тут и малый ребенок не скажет плохо. Придется назад воротаться тебе.

Путница вздохнула.

– Задаром сколько верст прошла! И так уж идешь-идешь, не знаешь, когда конец будет. Ноги опухли, язвы по ним пошли...

– А издалека идешь?

– Из Иерусалима.

– На богомолье ходила?

– На богомолье.

– В пути-то вам долгонько пришлось побыть! – сказал я.

– Да вот от Одессы никак седьмые сутки иду. Еще спасибо кондуктору, подвез на машине, – рубль и два двугривенных взял... Тяжело теперь идти. Вышли мы осенью, тогда хорошо было, дожди шли. А теперь земля твердая, – сил нет, жарко... А все-таки лучше, чем по морю, – прибавила она, помолчав. – Вот где мук-то натерпелись! Качает пароход,

народу много, скот тут же; все на одну сторону сбиваются. Рвет всех, духота... Вспомнишь – тяжело становится!

– А в Иерусалиме жарко было?

– Жарко... Мы там больше от воды пропадали. Воды мало там, и холодную и горячую турки продают за деньги. Вода тяжелая, вредная. Много там с нее нашего народу померло.

– Там что же, турки все? – с любопытством спросил Михайло.

– Больше турки. Сурьезный народ, все знай молчат. Ходят они босые; какие ни будь острые камни, никогда не обуются. Скажи им: «хорошо – нет!» – это им приятно.

– Ишь! Любят! – засмеялся Михайло.

– Да... – улыбнулась богомолка. – Греки тоже есть... Они нашей веры, а только ничего не поймешь, что они, прости господи, лопочут: «ерасиха! ерасиха! ерасиха! Ерань! ерань!» А то еще: «берша! берша!» И патриарх-батюшка то же самое, по-грецки. Погодите, вот я вам его сейчас в панораме покажу.

Она развязала котомку, достала плохонький стереоскоп и пачку фотографий. Мы перешли к порогу, ближе к свету. Теперь дождь

моросил лениво и скупно, тучи уходили на восток, и перекааты грома доносились издалека.

Богомолка вынула из пачки двойную стереоскопическую фотографию иерусалимского патриарха.

– Вот он, патриарх-батюшка... В панораме они двое в одно пойдут. Дай-ка, я его вставлю. Шибко хорошо и в панораме выходит! К свету только ладьте.

Стекла в стереоскопе были пузырьчатые и мутные, видно в них было плохо. Богомолка стала нам показывать другие фотографии с видами святых мест. Мы смотрели в стереоскоп, а богомолка давала объяснения:

– Дуб мамврийский – он в панораме большой оказывается... А это будет град Вифлеем, где Христос родился... Гроб господень изнутри... В этом самом гробе в Христову пятницу благодатный огонь с неба сходит.

– Мне приходилось об этом слышать, что огонь сходит. Скажите, вы сами не видели этого? – спросил я.

– Как же не видела?.. Вот придет Христова пятница, народу сойдется видимо-невидимо. Приедет патриарх, – видали его в панораме?..

Турки его сейчас разденут до рубашки, осмотрят всего, обыщут, нет ли где спичек, и запирают в гроб господень. Он стоит там, молится, а мы ждем, не шелохнемся. Вдруг в дырочку ударяет с неба молонья. Турки отпирают гроб, – патриарх выходит, а в руке у него свеча горит. Тут у всех такой восторг подымается! Ревут, ревут, как ребятишки малые... Особенно арапы, нашей веры, – таких много; так те смотрят, друг дружке на плечи позабираются... Колоколов там мало, и они в церкви самой висят; тоже в доски такие бьют. Так вот, как выйдет патриарх со свечой, сейчас – в палки, в доски, в музыки эти!.. Арапы пляшут, в ладоши щелкают... Все зажигают себе свечи, – по тридцать три свечки у каждого вокруг руки навязаны, и начинается служение... И ведь какой, парни, огонь-то! Вот так водишь свечой (рассказчица быстро развязала узел головного платка и подняла загорелый подбородок, резко отделявшейся от белой шеи), водишь, водишь, кажись, все спалило бы; а ничего не жжет!

– Не жжет?! – с одушевлением спросил Михайло.

– Ни капельки!.. Другой арап в безумие придет, – огнем этим в живот себя тыкает, в лицо – и ничего... От всяких болезней этот огонь помогает.

На дворе начинало темнеть, Дождь прекратился, но небо было покрыто окладными тучами; с крыши капало. Кругом трещали сверчки, в соседней балке слабо и неуверенно щелкала камышовка, неумело подражая соловью.

– Однажды не захотели, чтоб православным огонь достался, – продолжала богомолка, помолчав. – Сговорились все: не пускать! Вот стали они в церкви, заперлись все: турки, католики, армяне и четвертые... То ли скопцы, то ли я уж не знаю кто. Кажется, словно... Коп... Нет, уж не знаю, не могу назвать.

– Копты?

– Да, да, копты! Стоят... А русские возле церкви. Вдруг с неба молонья, все свечи у русских зажгла. А те стояли-стояли, не дождались ничего. Выходят, а у русских свечи горят. С той поры стали пускать.

– Пустишь, брат, как без русских ничего не сможешь сделать! – негодуяще сказал Михай-

ло. – Они тоже рады православного человека обидеть! Вон земляк у нас с войны воротился, сказывал; что они там делали, турки эти, – не накажи, господи! Православных христиан, что баранов, свеживали; кишки им выпускали, на огне жарили!

Богомолка задумчиво выслушала Михайлу видимо носясь мыслью далеко.

– Уж чего-чего там не насмотришься! – снова заговорила она. – Ей-богу, смотришь – и сама не знаешь, что это с тобою: и ужасно как-то и весело... Золотые ворота там есть, теперь их турки камнями заклали; в эти ворота Христос въезжал на осле. Евреи ему стлали по дороге бархаты-шелки, а он говорит: «Не поеду по бархатам-шелкам, поеду по вербам, что мне дети настлали». Евреи смотрят, – «зачем – говорят, – он по вербам едет, – царь, что ли?..» Хотели детей поразгонять... Только Христос им этого не дозволил, говорит: «Не препятствуйте им! Если, говорит, воспрепятствуете, *то аще камни возопие!..*» И что же, миленькие вы мои? Так до сего времени все те камушки, разинувши рты и лежат!..

Богомолка долго еще рассказывала. Много

было странного и наивного, но она относилась ко всему с таким глубоким благоговением, что улыбка не шла на ум. Лицо ее смотрело серьезно и успокоенно, как бывает у очень верующих людей после причастия. Видимо, из своего долгого путешествия, полного тяжелых лишений, собеседница наша несла с собою в душе нечто новое, бесконечно для нее дорогое, что всю остальную жизнь заполнит теплом, счастьем и миром.

Я спросил ее:

– А довольны вы, что удалось вам побывать в святой земле?

– Как же нет? Ведь все там... всюду все осмотрела. На Страшный-то суд, небось, туда же потребуют, в те местности.

– Разве туда? – удивился Михайло.

– А как же?.. Из пропасти под Давидовым домом серный пламень забьет, по Асафатовой долине огненные реки потекут, трубы вострубят, мертвые воскреснут. Христос в Золотые ворота въедет и начнет судить.

Богомолка помолчала.

– Нам там говорил отец Парфентий один, святой жизни, – сказала она, понизив голос. –

Богом взысканный... Мы у него на исповеди были. Строго исповедует! «Все, говорит, говори, не утай чего перед господом богом...» Ну все ему и рассказываешь. Выслушает, вздохнет. «Велики говорит грехи твои, поклонница божия!..» Ничего больше не скажет уйдет в алтарь – и плачет, плачет, навзрыд рыдает; в грудь себя бье-ет!.. Так вот он нам говорил: «Рабы божие, поклонники и поклонницы! Жизнь наша недолга, концы к концам придут!..»

– Видишь ты! – воскликнул Михайло и широко раскрыл глаза.

– Да-а... Недолго, значит, ждть будем. А там уж каждый давай ответ, как следует: как жил? благочестиво ли? Там уж все раскроется.

Все замолчали.

– Теперь говорим: «Трудно жить»... Трудно? А то ли еще тогда будет! – проговорила богомолка.

Михайло сокрушенно вздохнул.

Из-за туч выглянул месяц. Степь тонула в сумраке, только ковыль за дорогою белел одинокими махрами и тихо, как живой, шеве-

лился. На горизонте дрожало зарево от доменных печей завода, с рудника доносился мерный стук подъемной машины.

1896